

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

*Сплетни - Смерть Панаева - "Отцы и дети" -*

*- Петербургские пожары - "Что делать?"*

Постоянные неприятности и литературные дразги сильно влияли на впечатлительного Панаева и отразились роковым образом на его здоровье. Его литературные враги знали это и с каким-то злорадством усиливали против него свои пошлые выходки. Панаев особенно не любил одного из приживальщиков Тургенева, низкопоклонного и льстивого Колбасина, и не мог скрыть презрения, которое питал к нему [199]. Не зная, чем отомстить Панаеву, Колбасин начал распускать слух, будто Панаев занял у него 75 рублей и не отдает этих денег. Услужливые приятели, разумеется, поспешили сообщить Панаеву эту гнусную сплетню. Он пришел ко мне в страшном волнении и дрожащим, задыхающимся голосом начал рассказывать о выходке Колбасина.

- Недоставало только одного: обвинять меня в том, что я ворую деньги у сотрудников! - воскликнул он и с этими словами вдруг зашатался.

Я поддержала его и усадила на диван, около которого он стоял. С ним сделался обморок [200]. Приглашенный доктор не нашел ничего серьезного, за исключением слабости, и велел ему лечь в постель.

Вечером, когда я сидела около Панаева, он вдруг заговорил, что у него давно уже созрела мысль уехать куда-нибудь из Петербурга, так как жизнь в этом городе сделалась для него невыносимой.

- Можно взять в аренду небольшую усадьбу по Николаевской железной дороге, - прибавил он. - Что же тебе мешает исполнить свое желание? - отвечала я.

- Если бы ты также согласилась жить в деревне, - сказал он, - я был бы совершенно счастлив. Ведь и тебе тяжело жить здесь!.. Ты бы тоже отдохнула, и твоя болезнь печени прошла бы... Дай мне слово, что ты поедешь вместе со мной в деревню.

Я обещала.

- Ты меня очень обрадовала! - воскликнул он. - С своей стороны я обещаю, что ты не увидишь во мне прежних моих слабостей, за которые я так жестоко поплатился. Я сам себе был злейшим врагом и сам испортил свою жизнь. С людьми слабохарактерными надо поступать деспотически; они скорее поддаются влиянию людей дурных, нежели хороших. Только тогда, когда мне пришлось пережить страшную нравственную пытку, я понял, кто бескорыстно желал сделать мне хорошее и кто вред.

- Лучше поговорим об этом в другой раз, - заметила я, - тебе не следует волноваться и нужно лежать спокойно.

- Нет, дай мне облегчить душу и высказать то, что накопилось в ней за долгое время.

Не желая огорчить Панаева, я выслушала его исповедь, которую не считаю возможным приводить здесь по многим причинам.

В продолжение двух недель, пока я не отходила от больного Панаева, он только и говорил о том, как будет наслаждаться тишиной деревенской жизни, что ему, кроме природы и книг, теперь ничего не нужно, что он примется писать большую повесть, для которой у него накопилось много типов из современного общества, что фельетоны ему надоели и т.п.

Панаев поправлялся медленно; он похудел, изменился в лице и потерял аппетит. Я настояла, чтобы он пригласил известного тогда доктора Шипулинского. Последний внимательно осмотрел и выслушал больного и нашел у него порок сердца. Но он сообщил об этом лишь одному Некрасову, а меня уверил, что Панаев совершенно выздоровеет, как только переселится в деревню, бросит привычку писать по ночам, не станет утомлять себя продолжительными прогулками, до которых он был большой охотник, и вообще воздержится от всяких волнений. Я начала торопить Панаева уехать из Петербурга. Нам сообщили подробные сведения об одной усадьбе по Николаевской железной дороге, и решено было отправиться на первой неделе поста для ее осмотра и найма.

В последний день масленицы, вечером, Панаев поехал к двоюродной своей сестре, у которой были назначенные дни по воскресеньям; я подвезла его к ее дому, а сама поехала в театр. Я была большая любительница театра и всегда оставалась до конца спектакля. На этот раз - сама не знаю, почему, - мне вдруг не захотелось досмотреть последнего акта, и я уехала домой. Лакей наш встретил меня словами, что с Панаевым, по его возвращении, сделался обморок, и он все спрашивал обо мне. Я велела скорее ехать за доктором, за которым, впрочем, уже было послано, а сама поспешила в комнату больного. Он лежал на кровати, но при моем приходе быстро сел и сказал:

- Не беспокойся, все прошло! Как я рад, что ты приехала домой... дай мне руку и не отходи от меня! - и, взяв меня за руку, умоляющим голосом добавил: - Устрой скорее, чтобы мне уехать отсюда!

Я обещала все сделать, лишь бы он успокоился. Панаев положил голову ко мне на плечо и проговорил:

- Мне так легче дышать. Я поддерживала его рукой; вдруг **он**, подняв голову и посмотрев на меня, сказал:

- Прости, я во мно...

И голова его опять склонилась ко мне на плечо. Я окликнула его, он молчал; мне вообразилось, что с ним опять обморок; я стала звать человека, который прибежал и помог мне положить Панаева на подушки; я старалась привести его в чувство. В эту минуту явился доктор. Он пощупал пульс, приложил ухо к сердцу и произнес:

- Он скончался.

Нечего объяснять, как я была поражена таким неожиданным ударом. Меня без чувств унесли в мою комнату.

Смерть Панаева произошла от разрыва сердца. Лакей рассказал мне, что, когда Панаев вернулся домой, то прежде всего спросил: дома ли я? потом прошел в свою комнату и стал раздеваться. Человек заметил по его лицу, что он был очень встревожен, и у него дрожали руки, когда он вынимал булавку из галстука и расстегивал жилет. Только что человек подал ему халат, как с ним сделался обморок. Его положили на кровать и послали одновременно за доктором и за мной в театр. Придя в себя, Панаев поминутно спрашивал, не приехала ли я.

Я была убеждена, что причиной смерти Панаева была опять какая-нибудь сильная неприятность, и его двоюродная сестра подтвердила мое предположение.

Панаев был похоронен на кладбище Фарфорового завода, потому что всегда, возвратись с чьих-нибудь похорон, говорил мне, что не желал бы лежать ни на одном из петербургских кладбищ, кроме Фарфорового завода, расположенного на возвышенном, песчаном берегу Невы. Эти берега Невы были ему родиной; он пропел на них свое детство и юность. У его дедушки, Берникова, у которого он воспитывался со дня рождения, была на берегу Невы дача, между Невским монастырем и Фарфоровым заводом, где Берников жил зиму и лето. О литературной популярности Панаева в Петербурге нельзя было бы заключить по тому

множеству публики, которая собралась на вынос его тела, так как у него была масса знакомых. Но его популярность можно было проверить по количеству народа, являвшегося проститься с покойником, пока гроб стоял в квартире. С раннего утра до поздней ночи у гроба толпились люди разных классов общества: студенты, гимназисты, офицеры, купцы, даже лавочники.

В начале 1862 года состоялся литературный вечер в пользу Литературного Фонда. Когда было объявлено, что на этом вечере Некрасов будет читать некоторые стихотворения Добролюбова, а Чернышевский его характеристику, то в литературной среде разнеслись слухи, что оба они будут ошканы. Накануне вечера Некрасов получил анонимное письмо, в котором ему советовалось сказать себя больным, чтобы избежать скандала, так как публика уже заранее возмущена тем, что Чернышевский хочет, наперекор общему мнению, придавать значение такой личности, литературную деятельность которой, хотя, к счастью, и кратковременную, всякий образованный и порядочный человек считает позорною.

Однако скандала не произошло никакого. Напротив, при появлении Некрасова и Чернышевского на эстраде и уходе с нее раздавались шумные аплодисменты. Но все-таки нашлись люди, уверявшие тех, кто не был на этом вечере, будто Некрасову шикали, а Чернышевскому публика даже не дала окончить чтение, так как он держал себя крайне неприлично. В этом духе были напечатаны отчеты о вечере в "Северной Пчеле" и "Библиотеке для Чтения" [201].

По поводу этих статей и нелепых толков В.С. Курочкин написал в стихах пародию на "Горе от ума" под заглавием "Два скандала" (сцена из комедии "Горе от ума", разыгранная в 1862 году [202]).

Тотчас после смерти Добролюбова Чернышевский приступил к разбору его бумаг, чтобы поскорее издать полное собрание его сочинений. Когда был отпечатан первый том и Чернышевский принес его мне, я с изумлением увидела, что издание посвящено мне [203]. Если бы я знала заранее о намерении Чернышевского, то, разумеется, попросила бы его не делать этого, чтобы не подавать повода к новым сплетням, которыми я была сыта по горло.

Я не запомню, чтобы какое-нибудь литературное произведение наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как повесть Тургенева "Отцы и дети". Можно положительно сказать, что "Отцы и дети" были прочитаны даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки. Приведу несколько фактов, рисующих состояние тогдашнего общества при появлении повестей Тургенева. Я сидела в гостях у одних знакомых, когда к ним явился их родственник, отставной генерал, один из числа тех многих недовольных генералов, которые получили отставку после Крымской войны. Этот генерал, едва только вошел, уже завел речь об "Отцах и детях".

- Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю, но куда ни придешь - только и разговоров, что об этой книжке... стыдят, уговаривают прочитать... Делать нечего, - прочитал... Молодец сочинитель; если встречу где-нибудь, то расцелую его! Молодец! ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх! Молодец!.. Придумал же им название - нигилисты! попросту ведь это значит глист!.. Молодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его, пусть сочинит еще книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас! [204].

Мне также пришлось видеть перепуганную пожилую добродушную чиновницу, заподозрившую своего старого мужа в нигилизме, на основании только того, что он на Пасхе не поехал делать поздравительные визиты знакомым, резонно говоря, что в его лета уже тяжело трепаться по визитам и попусту тратить деньги на извозчиков и на водку швейцарам. Но его жена, напуганная толками о нигилистах, так переполошилась, что выгнала из своего дома племянника, бедняка студента, к которому прежде была расположена и которому давала стол и квартиру. У добродушной чиновницы исчезло всякое сострадание от страха, что ее муж окончательно превратится в нигилиста от сожительства с молодым человеком. Иные барышни пугали своих родителей тем, что сделаются нигилистками, если им не будут доставлять развлечений, т.е. вывозить их на балы, театры и нашивать им наряды. Родители во избежание срама входили в долги и исполняли прихоти дочерей. Но это все были комические стороны, а

сколько происходило семейных драм, где родители и дети одинаково делались несчастными на всю жизнь из-за антагонизма, который, как ураган, проносился в семьях, вырывая с корнем связь между родителями и детьми.

Ожесточение родителей доходило до бесчеловечности, а увлечение детей до фанатизма. В одном семействе погибли разом мать и дочь; в сущности, обе любили друг друга, но в пылу борьбы не замечали, что наносили себе взаимно смертельные удары. Старшая дочь хотела учиться, а мать, боясь, чтобы она не сделалась нигилисткой, восстала против этого; пошли раздоры, и дело кончилось тем, что мать, после горячей сцены, прогнала дочь из дому.

Молодая девушка, ожесточенная таким поступком, не искала примирения, промаялась с полгода, бегала в мороз по грошовым урокам в плохой обуви и холодном пальто и схватила чахотку. Когда до матери дошло известие, что ее дочь безнадежно больна, она бросилась к ней, перевезла к себе, призвала дорогих докторов, но было уже поздно, дочь умерла, а мать вскоре с горя помешалась.

Таких печальных семейных разладов тогда было множество, и тургеневские "Отцы и дети" только усилили их, внося новые недоразумения. Тургенев сам это понял и в следующей повести "Новь" сделал попытку придать новому поколению некоторые примиряющие черты, но их никто уже не заметил. А как легко было Тургеневу с его огромным талантом и литературным авторитетом выяснить обеим сторонам их взаимные недоразумения и беспристрастно показать все неразумие ожесточенной борьбы из-за пустых внешних причин, которым придавалось столь важное значение.

Стриженные волосы, отсутствие кринолина или барашковая шапка на голове женщины производили сенсацию в публике и приводили многих в ужас. Такой женщине не было прохода от презрительных взглядов и насмешек, сопровождаемых кличкой "нигилистка".

По примеру образованного класса, извозчики и лавочники также преследовали этих женщин грубым смехом и остротами.

Теперь все благоразумные родители, имеющие даже достаток, заботятся, чтобы их дочери были подготовлены ко всякому непредвиденному перевороту в их жизни и могли бы, в случае надобности, своим трудом добывать средства к существованию. О недостаточных людях нечего и говорить: они бьются из последних сил, чтобы подготовить своих дочерей к какому-нибудь труду.

В конце пятидесятих годов, вследствие экономического положения, ясно выдвинулся вопрос, что праздные, бедные люди не могут по-прежнему кормиться в виде паразитов, что необходимо самому зарабатывать себе кусок хлеба и приобретать для этого научные познания. Молодежь это осознала и устремилась с юношеским увлечением к специальным знаниям, которые можно было бы применить с пользой не только для себя, но и для общества. К несчастью, это увлечение не избегло крайностей, породивших между старым и новым поколением печальные недоразумения, которые с каждым днем разрастались и усиливались.

Вскоре после появления "Отцов и детей" Тургенев приехал из-за границы пожинать лавры. Почитатели носили его чуть не на руках, устраивали в честь его обеды, вечера, говорили благодарственные речи и т.п. Я думаю, что ни одному из русских писателей не выпадало при жизни столько оваций.

В то время ежегодные концерты, дававшиеся в пользу недостаточных студентов, были всегда полны; даже аристократическая публика посещала их. Впрочем, нужно заметить, что артисты итальянской оперы постоянно участвовали в этих концертах безвозмездно.

Распорядители-студенты сами являлись к некоторым литераторам с билетами на свой концерт, как бы желая этим выразить им уважение от лица всей студенческой корпорации.

Но после напечатания "Отцов и детей" Тургенев не получил билета. Это произвело сенсацию в кругу его друзей-литераторов. Со стороны их посыпались обвинения, что все это произошло по интригам Некрасова и семинаристов, сотрудников "Современника", которые вооружают молодежь, распространяя о Тургеневе сплетни.

Я бы и не упомянула об этой сплетне, если бы только ею ограничились обвинения Некрасова; но вслед за тем распространилась новая клевета, будто Некрасов проиграл чужие деньги. Тургенев, в виде предостережения некоторым литераторам в их денежных расчетах с Некрасовым, рассказывал, что при встрече с Некрасовым в Париже, узнав, что он едет в Лондон, поручил ему передать 18 тысяч франков Герцену; но Некрасов, в первый же день по прибытии своем в Лондон, проиграл их в игорном доме и скрыл это, пока Тургенев не обличил его; что Некрасов клялся уплатить в скором времени проигранные 18 тысяч, но, конечно, не уплатил, воспользовавшись оплошностью Тургенева, который не взял с него никакого документа [205].

Это обвинение Некрасова в растрате чужих денег я могу фактически опровергнуть.

Некрасов в первый раз находился в Париже в 1857 году, о чем я уже говорила раньше. Вторая его поездка за границу состоялась в 1863 году, уже после разрыва с Тургеневым из-за Добролюбова. Следовательно, только в первую поездку Тургенев мог дать Некрасову подобное поручение. Но зачем было Тургеневу делать это, когда он сам вместе с Некрасовым ездил в Лондон из Парижа?

При мне Тургенев стал уговаривать больного Некрасова ехать вместе в Лондон, где ему почему-то необходимо было побывать, если не ошибаюсь, кажется, потому, что Виардо давала там концерт. Я заметила Некрасову, что ему не следует ехать в Лондон, потому что он может простудить на пароходе свое большое горло. Но Тургенев все-таки настоял на своем. Некрасов поехал с ним в Лондон, и они вернулись вместе назад; поездка их продолжалась не более десяти дней.

На другой день по возвращении из Лондона Тургенев пришел к Некрасову и сказал:

- Сосчитал ли ты, сколько я должен тебе за расходы, заплаченные тобою в отеле за меня и за билеты в дороге?

- Да после сосчитаемся, - отвечал Некрасов, кутаясь в плед, потому что чувствовал лихорадку после дороги.

- Я боюсь, чтобы ты не присчитал этого долга к моему старому долгу. Ты смотри также, не смешивай моего долга лично тебе с долгом "Современнику".

- Да ну, хорошо! ~ ворчливо произнес Некрасов. - Точно не успеем сосчитаться, когда будут у тебя деньги.

- Тебе теперь можно не считать, тебе нипочем бросать тысячи.

- Я всегда бросал деньги, - заметил Некрасов, - бывало, не задумываясь, тратил последние десять рублей, лежавшие в кармане, и оставался на другой день без обеда; это, брат, у нас наследственная помещичья безалаберность в обращении с деньгами. Спросить у тебя, сколько ты проживаешь в год - наверно, не знаешь. Тургенев рассмеялся и отвечал:

- Скажу лучше - я не знаю даже, сколько прожил денег в мое короткое пребывание в Париже.

И Тургенев начал удивляться, как он ухитряется проживать столько денег и вечно сидеть без копейки.

Возможно ли, чтобы Тургенев, ведя с Некрасовым такой разговор об их расчетах, не упомянул ни слова о долге в 18 тысяч франков, если бы таковой действительно существовал? Да можно ли допустить, чтобы Тургенев после того, как Некрасов "прикарманил" у него 18 тысяч франков, продолжал бы по-прежнему находиться с ним в дружеских отношениях до тех пор, пока из-за статьи Добролюбова порвал с ним всякое знакомство и даже перестал кланяться, встречаясь на улице?

Одно можно предположить, что Тургенев видел во сне, будто передал Некрасову 18 тысяч франков, и этот сон так живо запечатлелся в его памяти, что он смешивал его с действительными фактами.

Когда Некрасов узнал, что Тургенев взводит на него подобное обвинение, то у него разлилась желчь; он три дня не выходил из дома, никого не принимал, ничего не мог есть и находился в таком возбужденном состоянии, что до изнеможения ходил по кабинету из угла в угол.

Желая успокоить Некрасова, я советовала ему брать пример с покойного Добролюбова или с Чернышевского, которые относились к распространяемым о них клеветам с полнейшим презрением.

- Между ними и нами огромная разница, - отвечал Некрасов. - Под их репутацию в частной жизни самый строгий нравственный судья не подпустит иголки, а под нашу можно бревна подложить. Они в своих нравственных принципах тверды, как сталь, а мы, расшатанные люди, не умеем даже в пустяках сдерживать себя! Всем известно, что я имею слабость к картам, вот и может показаться правдоподобным, что я проигрываю чужие деньги.

- Но если ваша совесть не упрекает вас, то нечего и приходить в такое отчаяние.

- Большое утешение! Вообще в подобных случаях легко давать советы; но каково переживать такие минуты человеку... Право, уж прибавили бы за один раз, что видели, как я передергиваю в картах!..

Говоря это, Некрасов задыхался от волнения и после некоторого молчания прибавил:

- Мне в голову не приходило напомнить Тургеневу после нашей размолвки, что он мне лично остался должен около 3 тысяч, а тем более рассказывать об этом всякому встречному, придавая грязную подкладку. Человек просто мог позабыть о долге, а если вспомнит, то сам отдаст. Положительно только в умопомрачении можно наболтать на другого такую небывалую, позорную вещь. Я уверен, что Тургенев сам потом ужаснулся, до чего дал волю своей мести - и за что? за то, что я взял по справедливости сторону Добролюбова; да ведь Тургенев, с его умом, сам должен бы сознавать, что был неправ перед Добролюбовым. Вот до какого ослепления доводит бесхарактерность самого умного человека! Нажужжали ему ч уши сперва про Добролюбова, а потом про меня, что мы ему враги. Дай ему Бог побольше таких врагов, как я. Я был уверен, что, проведя вместе нашу молодость, мы имеем прожить и нашу старость. Лучше бы он из-за угла убил меня, чем распространять про меня такую позорную небывальщину!

Некрасов весь дрожал, стиснул губы, как бы боясь, чтобы у него не вырвалось стоны, и быстро, порывисто зашагал по комнате.

Привязанность Некрасова к Тургеневу можно было сравнить с привязанностью матери к сыну, которого она, как бы жестоко он ни обидел ее, все-таки прощает и старается приискать всевозможные оправдания его дурным поступкам. Я более никогда не слыхала, чтобы Некрасов сделал даже намек относительно враждебных к нему чувств и действий Тургенева; он по-прежнему высоко ценил его талант.

В характере Некрасова было много недостатков, но я "не думаю, чтобы кто-нибудь из современных литераторов мог упрекнуть его в зависти к их успеху на литературном поприще

или в том, что он занимался литературными сплетнями. Некрасов никогда не обращал внимания на то, что ему говорили друг про друга литераторы и, если между ними происходили ссоры, старался примирить враждующих.

Внимание, которое оказывал Некрасов всякому вновь появляющемуся талантливому литератору, приписывали, обыкновенно, его спекулятивному расчету. Но Некрасов всегда искренно радовался, что в русской литературе выступает еще новый талант и как журналист он, понятно, желал, чтобы произведения этого таланта попали в "Современник". Я уже упоминала, что Тургенев подсмеивался над Некрасовым, что он слишком преувеличивает свои взгляды на новых появляющихся литераторов. Некрасову часто доставалось за это от Тургенева и В.П.Боткина как людей компетентных по части изящных искусств. Помню, как осенью в 1850-м или 1851 году они привязались к Некрасову из-за Дружинина, когда тот печатал в "Современнике" свои фельетоны с подписью "Чернокнижников".

Тургенев и Боткин требовали, чтобы Некрасов прекратил печатание этих фельетонов - говоря, что они позорят журнал и даже других литераторов, которые в одной книжке с такой ерундою помещают свои произведения.

- Не могу же я, господа, оскорбить Дружинина, отказав ему печатать его фельетоны! - говорил Некрасов. - У всякого из нас может выдаться неудачная вещь. У Дружинина есть имя, он сам отвечает за себя.

Боткин возразил на это, что журнал не богадельня, чтобы помещать произведения исписавшихся литераторов, - да и с чего Некрасов взял, что Дружинин приобрел себе авторитетное имя в литературе?

Тургенев тоже соглашался с Боткиным.

- Да вы сами восхищались "Полинькой Сакс" Дружинина, - воскликнул Некрасов, - даже находили, что его женские типы напоминают Гёте!

Тургенев пояснил Некрасову, что, если они и хвалили "Полиньку Сакс", то он забыл, какая была в 1849 году [206] голодовка в русских журналах относительно беллетристики, что на прежних литераторов наложена была печать молчания, и цензура не пропускала ничего из их произведений, так что "Полинька Сакс" и могла иметь некоторый успех. Он привел пословицу: "На безрыбье и рак рыба", - и уверял, что появившись теперь "Полинька Сакс", на нее никто не обратил бы внимания.

- Ну уж, господа, как вы начнете нападать на кого-нибудь, так в ключья его растреплете, - заметил Некрасов.

- В нас, любезный друг, развито эстетическое чувство, - отвечал В.П.Боткин.

- Согласись, Некрасов, - вставил Тургенев, - что если человек слушает одну русскую музыку, видит картины одних русских художников и знаком только с одной русской литературой, то в нем не может развиваться эстетическое понимание изящных искусств. Тебе нужно сознаться, что ты некомпетентный судья.

- И должен слушаться нас! - подхватил Боткин. - нельзя, любезный друг, издавать журнал, валя в него без разбору и художественные вещи, и всякую ерундищу. Надо сначала развить в себе эстетическое чутье многосторонним знакомством с европейской литературой, изучить ее, а потом уж можешь полагаться на один свой вкус!

Некрасов сознавал, что Тургенев и В.П.Боткин имели большое преимущество перед ним в образовании и начитанности.

В этот год, осенью, Дружинин, Боткин и Тургенев, все трое, жили у нас: Дружинин вернулся из деревни ранее своей матери, Боткин, по обыкновению, приехал из Москвы к нам,

а Тургенев из деревни также остановился у нас до устройства своего зимнего пребывания в Петербурге.

Приведенный выше разговор происходил за ужином. На следующее утро я поила всех троих чаем и кофе и была удивлена, когда Тургенев и Боткин стали просить Дружинина прочитать им фельетон Чернокнижникова, который он писал для следующего номера "Современники". Дружинин прочитал им еще неоконченный фельетон, и слушатели смеялись и похваливали. Мне сделалось даже обидно за Дружинина, который принял эти похвалы за чистую монету. Он сам никогда не говорил за глаза ничего дурного про своих приятелей-литераторов, и, вероятно, ему не приходило в голову, чтобы другие могли поступать иначе.

Лонгинов, сделавшись начальником над цензорами, на которых прежде сочинял шутовские стихи, запретил, дальнейшее печатание фельетонов Чернокнижникова, так что Тургенев и Боткин не имели уже более повода преследовать Некрасова за Дружинина [207].

Тургенев и В.П.Боткин почему-то не церемонились с Некрасовым и высказывали ему в глаза очень горькие истины о его стихах. Живо помню, как будто это было вчера, обстановку комнаты, позы и выражения лиц во время одного разговора, происходившего в начале 50-х годов, когда с каждым новым стихотворением Некрасова его известность увеличивалась, и все его стихотворения, запрещенные цензурой, заучивались наизусть молодежью.

За утренним чаем Тургенев сидел в серой охотничьей куртке с зеленым воротником и, сложив руки, облокотился на стол, а В.П.Боткин в беличьем халате сидел, углубясь в мягкое кресло. Перед Тургеневым стоял стакан кофе, а перед Боткиным - чай. Это происходило также в один из их приездов в Петербург, и они проживали у нас. Некрасов расхаживал по столовой. Панаев еще спал. Разговор зашел сперва о редакции объявления об издании "Современника" на следующий год. Я зачем-то вышла из столовой по хозяйству и, вернувшись через несколько минут за чайный стол, услышала, что разговор перешел уже к стихам Некрасова.

- Надеюсь, Некрасов, ты поймешь, - говорил Тургенев, - что мы для твоей же пользы высказываем наше искреннее мнение.

- Да с чего вы взяли, что я сержусь, - отвечал Некрасов на ходу.

- Не за что ему сердиться! не за что! он должен быть благодарен нам! - произнес В.П.Боткин. - Да, любезный друг, твой стих тяжеловесен, нет в нем изящной формы; это огромный недостаток в поэте.

- Ты слишком напирал в своих стихотворениях на реальность, - заметил Тургенев.

- Да, да! а этого нельзя! - подхватил Боткин, - сильно напирал, и это коробит людей с художественным развитием, режет им ухо, которое не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе как формы стиха, так и в предмете стихотворения.

- Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной изящной женщины с поэтическим чутьем, - сказал Тургенев, - она перечитала в оригинале все стихи Гёте, Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел ей "Еду ли ночью по улице темной". Она слушала с большим вниманием, и когда я кончил, знаешь ли, что она воскликнула? "Это не поэзия! Это не поэт!"

- Да, да, - подтвердил Боткин.

- Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться светским женщинам! - проговорил Некрасов.

- Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин, - запальчиво возразил Боткин. - Пушкин, Лермонтов, и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи прежде, чем их печатали.

- До Пушкина и Лермонтова мне далеко! - отвечал Некрасов. - Если я стану подражать им, то никуда не буду годен. У всякого писателя есть своя своеобразность; у меня - реальность.

Тургенев приводил сравнение между бриллиантом в первобытном виде и тем блеском, который он получает в искусных руках ювелира от грани. Он сопоставил параллель между деревенской красавицей и менее красивою женщиною, но с изящными светскими манерами.

- Изящная форма во всем имеет преимущество, - заключил Тургенев свою речь.

Василий Петрович, слушая Тургенева, изъявлял свое одобрение односложными восклицаниями "верно, прекрасно!", и, когда Тургенев замолчал, он наставительно обратился к Некрасову:

- Да, любезный, мы хлопочем, чтобы в твоих стихах не было грубой реальности. Вчера, возвращаясь домой от изящной женщины, мы всю дорогу говорили о твоих стихах и пришли к заключению, что ты на ложной дороге. Брось воспевать любовь ямщиков, огородников и всю деревенщину. Это фальшь, которая режет ухо. Ты не обижайся нашей дружеской откровенностью, поверь нам, что такая реальность, как, например, в твоём стихотворении "Еду ль по улице", претит всякому, у кого развито эстетическое понимание поэзии. Это профанация - описывать гнойные раны общественной жизни. Не увлекайся, пожалуйста, что мальчишки и невежды в поэзии восхищаются твоими подобными стихами, а слушайся людей, знающих толк в изящной поэзии. Не ты первый и не ты последний из молодых писателей, сгубивших себя мнимым успехом между неучами, ничего не смыслящих в истинной поэзии.

Некрасов ходил, понуря голову, но вдруг подошел к столу и произнес:

- Вы, господа, может быть и правы с строгой точки эстетического взгляда на мои стихи, но вы забыли одно, что каждый писатель передает то, что он глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русского мужика от холода, голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов я беру из их среды, и меня удивляет, что вы отвергаете человеческие чувства в русском народе! Он так же сильно чувствует любовь, ревность к женщине, так же беззаветна его любовь к детям, как и у нас!

Некрасов проговорил все это сильно взволнованным голосом и опять стал ходить по комнате, продолжая:

- Пусть не читает моих стихов светское общество, я не для него пишу.

- Значит, ты, любезный друг, пишешь для русского мужика, но ведь он безграмотен! - язвительно заметил Василий Петрович.

- Мне лучше тебя известно, что есть много грамотных мужиков, да и скоро русский народ поголовно будет грамотен, несмотря на то, что у него нет учителей.

- И будет выписывать "Современник"! - улыбаясь, произнес Тургенев.

Некрасов заметно смутился и прекратил ходьбу.

- Браво, браво, Тургенев! - воскликнул Боткин и с сожалением в голосе продолжал: - Ай, ай, любезный Некрасов, поразил ты нас; такой практический человек и вдруг такая маниловщина в тебе.

- Имеете право потешаться надо мной! - мрачно отвечал Некрасов. - Я вас еще более потешу и удивлю, если выскажу вам свою откровенную мысль, что мое авторское самолюбие вполне было бы удовлетворено, если бы, хоть после моей смерти, русский мужик читал бы мои стихи!

Василий Петрович в ужасе схватил себя за голову и воскликнул;

- Боже упаси нас видеть в тебе конкурента автора "Бовы королевича"... Нет, ты сегодня, мой любезный друг, говоришь чистейший абсурд. - И иронически добавил: - Хочешь быть русским Беранже; но ведь ты, мой любезный, не сообразил, что во Франции народ цивилизованный, а наш русский - это эскимосы, готентоты!

- Ты бы, Василий Петрович, лучше молчал о русском народе, о котором не имеешь понятия! - раздражительно воскликнул Некрасов.

- И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в таком государстве. Ведь вся Европа, любезнейший, смотрит на русского чуть ли не как на людоеда. Ты ведь не путешествовал по Европе, а мы в ней жили и не раз испытали стыд, что принадлежим к дикой нации.

- Если ты нашел, что я говорю сегодня абсурд, то ты сейчас перещеголял меня, Василий Петрович, - ответил Некрасов.

- Да, я европеец, а не русский дикарь, - разгорячась, воскликнул Боткин. Тургенев остановил В.П. словами:

- Вы оба горячитесь и уклонились в сторону от предмета вашего разговора.

В.П. хотел что-то возразить, но Тургенев прервал его словами: "Дай мне объяснить Некрасову насчет Беранже". И он начал доказывать, что Беранже мог быть народным поэтом, потому что во Франции, в больших городах, есть оседлый народ, до которого коснулась цивилизация, а в России народ является в столицу на время, запродать свой физический труд, и снова уходит в деревню, и столичная цивилизация не соприкасается с ним; каким он пришел в столицу, таким и уходит по своим деревням, так что, пояись хоть десять народных поэтов в Петербурге, русский народ не будет иметь о них понятия.

Приход гостя прервал этот разговор.

Я восстанавливаю те разговоры, которые производили на меня сильное впечатление. В продолжение многих лет мне постоянно приходилось слушать людей, ведущих длинные разговоры за утренним чаем, за завтраком, за обедом, за ужином; поневоле эти разговоры врезывались в моей памяти. Теперь, я думаю, таких продолжительных разговоров и не может быть между литераторами, как прежде, потому что о многом они могут говорить в печати, а тогда должны были удовлетворяться одними только разговорами.

"Чтобы хорошо узнать человека, надо с ним съесть пуд соли", - говорит пословица, а мне пришлось съесть десяток пудов соли с некоторыми литераторами, в течение тридцати с лишком лет.

В 1861 году, осенью, М.И.Михайлов, вернувшись из-за границы, пришел к нам утром с Сераковским, офицером генерального штаба. Сераковского я мало знала; он был небольшого роста, белокурый, с большими серыми глазами, смотревшими очень серьезно. Оба принесли по стихотворению для "Современника". Михайлов - перевод из Гейне, а Сераковский - из Мицкевича, и прочитали их Некрасову, который попросил Сераковского прочесть его перевод по-польски. Сераковский совершенно преобразился, когда стал читать стихи по-польски: глаза его сверкали, голос дрожал от волнения. После прочтения стихов он сказал: "Русский язык беден, чтобы передать всю мощь стиха Мицкевича", - и добавил выразительным

тоном, что "нация, которая может создавать таких поэтов, как Мицкевич, могуча, и никто не в силах подавить ее, она воспрянет еще прекраснее и сильнее, закалившись в страданиях".

Михайлов был очень весел и рассказывал смешные анекдоты из своего путешествия. Некрасов пригласил обоих на обед, который должен был быть на днях, по обыкновению, по выходе номера "Современника".

Михайлов обещал непременно быть, а Сераковский сказал, что через два часа уезжает в Вильно, где, кажется, служил.

Но на другое утро рано мы узнали, что в ночь (на 14 сентября) Михайлов был арестован. Сераковского я также более не видала. В 1863 году он трагически покончил жизнь в Вильне на эшафоте [208].

1861-й и 1862-й годы были для меня очень тяжелыми годами; много сильных потрясений пришлось мне испытать. Помимо личных моих невзгод, и над журналом надвигалась грозовая туча. Предвестником этой грозы явилось негласное запрещение выписывать "Современник" в полковые библиотеки.

Доходившие до редакции разговоры о "Современнике" в обществе людей, имевших большое влияние на литературу, также ничего хорошего не предвещали. Немало имело влияния и то, что из среды самой литературы раздавались голоса о том, что главные сотрудники "Современника" - люди ужасные, которые нагло пропагандируют в журнале уничтожение всех нравственных возвышенных принципов - как в общественной жизни, так и в литературе. Каждую статью Чернышевского и других сотрудников комментировали, отыскивая в ней замаскированные злобные мысли и утверждая, что она деморализующим образом действует на молодое поколение, которому будто бы твердят, что оно должно руководиться одним грубым материализмом и плевать на семейную жизнь, на нравственность женщин и на уважение ко всяким авторитетным людям. Я уже не упоминаю о том, в каких грязных красках рисовали частную жизнь ближайших сотрудников журнала. В доказательство всего этого приводили тот факт, что все порядочные литераторы отшатнулись от "Современника" и не дают в него ни одной строки.

Однако, несмотря на то, что "порядочные литераторы" не дают ни строки, подписка на журнал все увеличивалась.

Хотя о пожаре Апраксина рынка писано много, я все-таки должна упомянуть о нем.

В Духов день 1862 г., не могу в точности определить, чрез сколько времени после того, как по Литейной промчались пожарные, в дверях комнаты, где я сидела за работой, появился Андрей, мой лакей, и перепуганным голосом проговорил: "Авдотья Яковлевна, Петербург со всех сторон подожгли!"

У меня мелькнула мысль, что Андрей вдруг сошел с ума; я невольно посмотрела ему в глаза, но не нашла в них ничего дикого, кроме страшного испуга, а он поспешил добавить:

- Извольте сами выйти на подъезд и увидите, что делается на улице.

Я вышла на подъезд и, в самом деле, поразилась сумятицей, которая происходила на улице. Собственные экипажи мчались по направлению к Невскому, на извозчиках сидели и стояли по несколько седоков. Народ толпами бежал посреди улицы, а на тротуаре у каждого дома стояли жильцы; у нашего подъезда также стояла группа прислуги и жильцов. На лицах всех было выражение испуга. Да и точно можно было испугаться скачущих экипажей, бегущей толпы народа и крика кучеров. К довершению всего, сильный ветер рвал с головы шляпы, пыль столбом подымалась с мостовой и ослепляла глаза.

Мимо нашего подъезда две женщины вели под руки необычайной толщины купчиху; по ее красному, заплывшему жиром лицу текли ручьи пота; она пыхтела, как тендер, и стонала;

туалет этого мастодонта был в беспорядке: косынка на голове сбилась набок, ворот у горла был расстегнут; сзади ее шли две молоденькие девушки с измятыми шляпками и заплаканными глазами, а за девушками плелась поджарая купчиха и голосила, словно провожала покойника, причитывая: "Святые угодники, взмилуйтесь надо мной, несчастной!"

У нашего подъезда кто-то остановил голосившую купчиху расспросами. Купчиха как бы обрадовалась, что может излить свое горе, и жалобным голосом отвечала:

- Милые мои благодетели, ковровый платок стащили с меня, ведь 30 рублей стоил!

И купчиха начала рассказывать, что творилось в Летнем саду, где в этот день было гулянье, когда узнали, что горит Апраксин рынок.

- И, матушка, точнехонько свету представление приключилось, мужской пол как бросился из сада, а за ним и наша сестра. В воротах такая стала давка, что смерть, а мошенники-душегубцы и ну тащить с нас, что попало. С меня сволокли ковровый Платок, а с Марьи Савишны - тысячную шаль с брошкой сорвали. Кричали мы, кричали, да кому было нас, слабых женщин, защищать! С дочерей Марьи Савишны с шеи сорвали жемчуг. Вот в какое разорение все купечество подпало, до свадеб ли теперь; а нашей сестре приходится с голоду помирать.

Словоохотливая сваха, кажется, готова была болтать без конца, но все слушавшие ее обратили внимание на бежавшего впопыхах приказчика из фруктовой лавки нашего дома. Он на бегу сообщил известие, что подожгли Коломну и Васильевский остров и скоро подожгут Литейную.

Это известие произвело сильнейший переполох; все в ужасе ахали, а одна женщина вскрикнула:

- Господи, меня господа оставили одну при квартире, уехав на дачу... Что я могу вытащить, когда у меня и теперь ноги и руки дрожат!

- У нас полон двор уставлен дровами! - вскрикнул Андрей.

- Во! с нашего дома и подпалят! В этой сумятице долго ли поджигателям забраться во двор да сунуть зажженной пакли в дрова - и готово! - произнес кучер, на которого накинулись все за его пророчество.

- Ворота надо запереть, дворника заставить не пропускать во двор чужих, - слышались со всех сторон советы.

Андрей в отчаянии заметил, что хозяин дома на даче, а управляющий тоже с утра уехал на свою дачу.

Женская прислуга разом заговорила, что жильцы имеют право потребовать от дворников, чтобы они заперли ворота, но кучер утвердительно заметил:

- Не поможет! У поджигателей, сказывают, имеется такой состав: мазанут им стену дома, а он через час пречудесно вспыхнет. Известно - все поляки поджигают [209].

- Вместе с нигилистами! - мрачно проговорил какой-то господин с орденом на шее, проходя мимо.

Все устремили на него глаза, а он продолжал невозмутимо свою дорогу, расталкивая публику на тротуаре.

- Ах, - вскрикнула одна женщина. - Литейная загорелась, смотрите, дым какой!

Все стали смотреть по направлению к Невскому, но, кроме столбов пыли, я ничего не заметила. Кому-то почудилось, что уже запахло гарью, и все подняли носы вверх, нюхая воздух. Я ушла в комнаты, но через час оделась и вышла из подъезда, чтобы посмотреть на пожар. Андрей пришел в ужас, что я уйду и некому будет распорядиться, когда придется спасать вещи из квартиры, - так сильно он был убежден, что Литейную непременно подожгут.

На Невском действительно пахло гарью, и облака дыма носились в воздухе. Движение экипажей и народа было здесь необычайное.

Я остановилась на тротуаре против Троицкого переулка, который представлялся как бы вымощенным человеческими головами, такая плотная масса народа стояла в нем. Всюду слышались толки о поджигателях.

Я перешла Аничкин мост и медленно двигалась по набережной Фонтанки к Чернышеву мосту в толпе публики. С площади неслись черные тучи дыма, заволакивая небо, а позади черных туч дыма виднелось огненное небо. Но временам высоко поднимался столб пламени, рельефно обрисовываясь на темном фоне дыма, и из столба, словно дождь, сыпались крупные искры, которые ветер кружил и разносил на далекое пространство. Сила ветра была так сильна, что с места пожара взлетали горящие головни и, перелетая через Фонтанку, падали на крыши домов, продолжая гореть, как факелы. Народ бегал по крышам и сбрасывал вниз головни.

В Апраксином рынке было столько горючего материала, как в любой пиротехнической лаборатории, да и в горевших переулках его было немало, особенно в Чернышевом. Сильный ветер, разнося крупные искры, от которых то тут, то там загорались деревянные постройки и дровяные склады, делал борьбу с пожаром почти бесплодной.

Я не решилась приблизиться к Чернышеву мосту, боясь быть задавленной несметной толпой, постоянно прибывавшей, и вернулась домой, где нашла прислугу еще наэлектризованную уличными рассказами о поджигателях.

Я сочла излишним разубеждать прислугу в нелепости этих слухов, зная вперед, что моим словам не придадут веры.

На другой день утром я пошла посмотреть на сгоревший Апраксин рынок; несмотря на раннее время, на площади у Чернышева моста толпилось множество народу. Площадь представляла совершенный хаос: она была покрыта сажой и угольями и загромождена сломанной мебелью, сундуками и узлами, на которых сидели их обладатели, оберегая их; всюду валялись полуобгорелые дела и бумаги из дома министерства внутренних дел, и ветер шелестел листьями, точно любопытствуя прочесть, что в них написано. В выгоревший рынок мне не удалось попасть, потому что входы его оберегались солдатами, равно как и входы с Фонтанки в горевшие накануне переулки. Но я все-таки попала в Троицкий переулок через Владимирскую улицу. Печальное зрелище увидела я: по обеим сторонам торчали закопченные остовы домов с выбитыми рамами, без крыш, и свет проникал в разрушенные дома сверху до подвальных этажей и ярко освещал внутреннее разрушение. Обгорелые балки торчали в разных видах: одни, до половины сгоревшие, держались прямо, и на них были перекинута другие балки; иные висели вниз, точно на воздухе. В одном доме на полуразрушенной стене комнаты каким-то чудом уцелел большой поясной портрет в золоченой раме.

Вся мостовая была завалена выбитыми из домов рамами, искалеченною мебелью и домашнею утварью. Дровяной двор представлял склад углей, в котором копошились черные силуэты пожарных, заливавших тлеющие остатки, и струи дыма с огоньком местами виднелись на черном фоне.

В одном каменном разрушенном доме еще дымился подвальный этаж, и около него стояла машина, на которой усердно качали воду два молодых человека с длинными волосами и в шляпах с широкими полями, какие тогда преимущественно носила учащаяся молодежь. На сломанном шелковом диване, возле машины, сидели в изнеможении двое пожарных; вероятно,

молодые люди, сжалась над ними, сменили их на время, чтобы качать воду. Так как было еще очень рано, то собравшаяся публика состояла преимущественно из простонародья.

Я не решилась протиснуться дальше и стояла за толпой зрителей. Впереди меня какой-то мастеровой сказал:

- Молодцы - господа, ишь как лихо работают! Какой-то жирный лавочник, стоявший около него, ответил на это:

- Хороши эти молодцы, - вечер подожгли, а теперь для отводу глаз качают воду, да еще посмеиваются.

Все, кто стоял около жирного лавочника, заволновались, а лавочник продолжал:

- Мне сказывал верный человек, генерал, что студенты с поляками заодно хотели спалить весь город.

- Что же полиция смотрит?! - воскликнул кто-то.

- И без полиции справимся! Ребята, сволочем их с машины! - гаркнул мастеровой, только что хваливший молодых людей, и ринулся вперед, а за ним двинулась вся толпа.

У меня замерло сердце, мне вспомнилось живо, как я в детстве с ужасом смотрела с балкона на бедного чиновника, с которым расправлялся народ в первую холеру, заподозрив в нем отравителя съестных припасов в мелочной лавочке.

Молодые люди мгновенно исчезли с машины, около которой волновался народ; за толпой мне ничего не было видно. Но вдруг часть толпы двинулась по направлению к Пяти Углом, а другая часть стала расходиться. У меня отлегло от сердца, когда я спросила у двух проходивших мимо меня с места происшествия - что случилось? Один мне ответил: "Изловили двух молодцов поджигателей. Здорово бы потрепали их, если бы полиция не увела их в часть. Выпустят; сказывают, у них полны карманы денег - поляки их подкупили".

Какая-то пожилая женщина в платке, стоявшая около меня, перекрестилась и радостно произнесла: "Слава те, Господи, что изловили этих нехристей, а то опять быть пожару".

Я уже говорила о том, что до редакции "Современника" доходили слухи о собиравшихся над ним тучах. И действительно, гроза разразилась очень скоро. В начале июня 1862 года "Современник" лишился главного своего сотрудника [210], а вскоре затем был приостановлен на восемь месяцев.

В 1863 году, после восьмимесячного отдыха, "Современник" снова стал выходить, к огорчению его недоброжелателей. Из числа этих недоброжелателей литераторы торжествовали было уже победу и пропели вечную память "Современнику", рассчитывая, что Некрасов не захочет больше возиться с изданием. Можно судить, как были они изумлены, когда разнесся слух, что "Современник" не только возникает вновь, но в нем будет напечатан роман Чернышевского.

Эти слухи были приписаны выдумке Некрасова, с целью чем-нибудь заманить подписчиков.

Между тем редакция "Современника" в нетерпении ждала рукописи Чернышевского. Наконец она была получена из Петропавловской крепости со множеством печатей, доказывавших ее долгое странствование по разным цензурам.

Некрасов сам повез рукопись в типографию Вульфа, находившуюся недалеко - на Литейной около Невского. Не прошло четверти часа, как Некрасов вернулся и, войдя ко мне в комнату, поразил меня потерянным выражением своего лица.

- Со мной случилось большое несчастье, - сказал он взволнованным голосом, - я обронил рукопись!

Можно было потеряться от такого несчастья, потому что черновой рукописи не имелось: Чернышевский всегда писал начисто, да если бы у него и имелась черновая, то какие продолжительные хлопоты предстояли, чтобы добыть ее!

Некрасов в отчаянии воскликнул:

- И черт понес меня сегодня выехать в дрожках, а не в карете!.. И сколько лет прежде я на ваньках возил массу рукописей в разные типографии, и никогда листочка не терял, а тут близехонько, и не мог довести толстую рукопись!

Некрасов не мог дать себе отчета, в какой момент рукопись упала с его колен:

- Задумался, смотрю: рукописи нет; я велел кучеру повернуть назад, но на мостовой ее уже не было, точно она провалилась сквозь землю... Что теперь мне делать?

Я поторопила Некрасова написать объявление в газеты о потере рукописи и назначить хорошее вознаграждение за ее доставку. Некрасов назначил 300 руб. награды [211]. Он глухо обозначил, что это была за рукопись, так как ему, понятно, не хотелось, чтобы в литературной среде узнали о его потере и воспользовались этим для неблагоприятных толков; и он просил меня не говорить пока никому о случившемся.

Некрасов так был взволнован, что не мог обедать, был то мрачен и молчалив, то вдруг начинал говорить о трагической участи рукописи, представляя себе, как какой-нибудь безграмотный мужичок поднял ее и немедленно продал за гривенник в мелочную лавку, где в ее листы завертывают покупателям сальные свечи, селедки, или какая-нибудь кухарка будет растапливать ею плиту и т.п.

На другое утро объявление было напечатано в "Полицейских Ведомостях", и Некрасов страшно волновался, что никто не является с рукописью в редакцию.

- Значит, погибла она! - говорил он в отчаянии и упрекал себя, зачем он не напечатал объявление во всех газетах и не назначил еще больше вознаграждения.

В этот день, по обыкновению, Некрасов обедал в Английском клубе, потому что там после обеда составлялась особенная партия коммерческой игры, в которой он участвовал. Он хотел остаться дома, но за ним заехал один из партнеров и почти силою увез с собой.

Некрасов перед своим уходом пришел на мою половину и просил меня немедленно прислать за ним в клуб, если кто явится с рукописью, и удержать это лицо до его возвращения.

Не прошло четверти часа после его отъезда, как лакей пришел сказать мне, что какой-то господин спрашивает редактора. Я поспешила выйти в переднюю и увидела пожилого худощавого господина, очень бедно одетого, с отрепанным портфелем под мышкой. Можно было безошибочно определить, что он принадлежит к классу мелкого чиновничества. Я его спросила - не рукопись ли он принес?

- Да-с... по объявлению... желаю видеть-с самого г. редактора, - конфузливо отвечал он.

Я пригласила дорогого посетителя войти в комнату и подождать несколько минут, и послала человека за Некрасовым в клуб, который помещался тогда очень близко, на Фонтанке, около Симеоновского моста, написав два радостные слова: "Рукопись принесли".

Я начала беседовать с чиновником; он сперва конфузился, но потом разговорился и рассказал мне, что поднял рукопись на мостовой, переходя Литейную улицу у Мариинской больницы, и долго стоял, поджидая - не вернется ли кто искать оброненную рукопись.

Я спросила его, почему он раньше не принес рукопись.

- Газеты не получаю-с, со службы хотел зайти просмотреть газеты, да, уходя домой, случайно услышал от своих товарищей объявление о потере рукописи. Я-с прямо и пришел сюда.

Я успела узнать, что у чиновника большая семья: шесть человек детей и старуха-мать, что он лишился казенной службы, вследствие сокращения штатов, и теперь занимается по вольному найму в одном ведомстве за 35 рублей месячного жалованья, и на эти деньги должен содержать всю семью.

Явился Некрасов и впопыхах, не снимая верхнего платья, вошел в комнату и спросил чиновника:

- Где рукопись?

Чиновник переконфузился и, запинаясь, отвечал:

- Дома-с... я пришел только... Некрасов перебил его:

- Скорей поезжайте за ней, скорей!

Чиновник торопливо вышел из комнаты. Я заметила Некрасову, что, может быть, у такого бедняка нет денег на извозчика. Некрасов вернул его и, вынув из бокового кармана пачку крупных ассигнаций, сунул ему в руку 50 рублей, говоря: - Ради бога, скорей поезжайте за рукописью!

- Какое счастье, что она нашлась! - радостно произнес Некрасов.

Но недолго продолжалось его радостное настроение;

он начал волноваться от нетерпения:

- Вот дурак-то! дома ее оставил! жди теперь его.

- Чего вы теперь-то волнуетесь? - заметила я, - слава богу, она нашлась.

- Нашлась! мало ли что может случиться: наедет на него карета... выпадет с дрожек!..

Должно быть, рукопись у чиновника находилась поблизости у кого-нибудь на хранении, потому что он никак не мог так скоро съездить на Петербургскую сторону.

Лицо Некрасова просияло, когда он увидел рукопись в руках вошедшего чиновника. Он отдал ему деньги, взял рукопись и стал пересматривать, в целости ли она.

Надо было видеть лицо чиновника, когда в его дрожащей руке очутилась такая сумма денег, - вероятно, в первый раз. Он задыхался от радостного волнения и блаженно улыбался; но, однако, торопливо возвратил 50 рублей Некрасову, проговорив:

- Это-с, что вы мне дали прежде. Некрасов и позабыл об этих 50 рублях.

- Оставьте их у себя, пожалуйста! - отвечал Некрасов. - Есть у вас дети?

- Много-с!

- Так это им от меня на игрушки.

- Господи, господа! Думал ли я, поднимая с мостовой рукопись, что через нее мне будет такое счастье! - проговорил чиновник и стал благодарить Некрасова, который ему отвечал:

- И я вас благодарю за доставление мне рукописи. Если бедный чиновник был счастлив, то Некрасов, конечно, не менее его.

Роман Чернышевского имел огромный успех в публике, а в литературе поднял бесконечную полемику и споры.